

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК  
Институт мировой литературы им. А. М. Горького

# ПИСЬМА ЗАПРЕЩЕННЫХ ЛЮДЕЙ

ЛИТЕРАТУРА И ЖИЗНЬ ЭМИГРАЦИИ

1950–1980-е годы

*По материалам архива И. В. Чиннова*

Москва  
ИМЛИ РАН  
2003

ББК 83.3

*Издание осуществлено при финансовой поддержке  
Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ)  
проект № 02-04-16044д*

**Письма запрещенных людей. Литература и жизнь эмиграции. 1950–1980-е годы.** По материалам архива И. В. Чиннова. Сост. О. Ф. Кузнецова. — М.: ИМЛИ РАН, 2003. — 832 с., илл.

**Художник  
Николай Козлов**

ISBN 9208-0149-2

© ИМЛИ РАН, 2003  
© Кузнецова О. Ф., 2003



## Игорь Чиннов

### О «ЧИСЛАХ» И ЧИСЛОВЦАХ\*

В заметке о довоенных журналах русской эмиграции («Новое русское слово» от 19 апреля 1993 г.) Э. Штейн мельком назвал журнал совершенно замечательный — парижские сборники «Числа».

Вот что сообщает Эдуард Штейн:

«Одним из самых красивых в полиграфическом плане журналов русского Парижа, бесспорно, были “Числа”. Это был аполитичный журнал, значительное место в нем уделялось живописи, скульптуре и современным течениям в искусстве... Чтение “Чисел” даже сейчас доставляет большое эстетическое наслаждение... Последняя, десятая книга “Чисел” вышла в свет в июне 1934 года, почти шестьдесят лет тому назад. В этом номере помещена общая фотография всех сотрудников журнала — 34 литераторов. Сегодня здравствует лишь один из них — поэт Игорь Чиннов».

Здравствует? Скрипит было бы точнее. Но не в этом дело. Мимолетные замечания Штейна верны, но очень уж кратки. И мне, последнему числовцу, захотелось сказать и об ушедших собратях, и о самих «Числах» хоть немногое.

Журнал «Числа» был основан в 1930 году Николаем Авдеевичем Оцупом, младшим акмеистом, членом Цеха поэтов, учеником и другом Гумилева. Николай Степанович, правда, к нему относился критически, вменяя себе в заслугу, что «научил писать стихи даже Оцупа. Но, научил писать хорошо». Оцупу удалось найти свой стиль, его можно узнать. Это был очень энергичный, очень активный человек. В годы военного коммунизма он ухитрялся доставать двойные пайки, почему злые языки расшифровывали фамилию Оцуп как Общество Центрального Употребления Продуктов. В Париже он единственный из русских литераторов сделал научную карьеру: защитил при Сорбонне, где когда-то слушал Бергсона, диссертацию о Гумилеве и стал преподавате-

---

\* Воспоминания «О “Числах” и числовцах» печатаются по машинописному тексту, хранящемуся в архиве И. В. Чиннова (ИМЛИ РАН. Отдел рукописей. Ф. 614).



лем русского языка и литературы в престижнейшей Ecole Normale Supérieure. Удалось ему найти и мецената для «Чисел», это было совсем поразительно. Вечный работник, написал он толстенный «Дневник в стихах» — произведение прелюбопытное, хотя при долгом чтении и утомительное.

Держался Николай Авдеевич несколько чопорно, джентльменом. Всегда сохранял дистанцию. В сером безупречном костюме он был подчеркнута *comme il faut*. Один мой знакомый смеялся над его шикарными перчатками. Напрасно смеялся. Погиб Оцуп трагически, раздавленный грузовиком, и, конечно, это было для эмигрантской литературы крупной потерей. Вдова Диана Александровна, красавица, им восторженно воспетая, когда-то под именем Дианы Карен сыгравшая в синема Анну Каренину, поставила на Sainte Genevieve des Bois изящную серую большую плиту с надписью в левом углу: Николай Оцуп, русский поэт. Похороны были по католическому обряду — Николай Авдеевич и в религии был не без снобизма. И ему, и его «Числам» вечная память! Для эмиграции журнал этот остается патентом на благородство, *testimonium nobilitatis*. Запомнились эти его четыре строки:

Не знаю имени этой птички,  
Но сердце сразу узнает,  
Что это голос твоей сестрички  
И не напрасно она поет.

В 189-й книге (дек. 92 года) «Нового Журнала» о нем, в числе прочих парижских литераторов, вспоминает Александр Бахрах, мой добрый приятель, умница, острослов, человек очень образованный, не всегда приятный, но преинтересный и очень наблюдательный свидетель. Кое-что из сказанного им об Оцупе я здесь приведу:

*«...В 51 году ему было около шестидесяти лет, он защищал докторскую диссертацию о Гумилеве. Его диссертация — это мне поведал один из экзаменаторов — имела крайне субъективный характер и не всегда отвечала академическим нормам, но на неоднократные вопросы об источниках того или иного гумилевского высказывания Оцуп неизменно отвечал: “Да ведь это мне говорил мой друг Гумилев”. После таких разъяснений работа была единогласно одобре-*

Юпито Иваску

Мужикей добота поу  
бои и баскешу кюзу.  
боибе ибис и лоту  
серече солкаей ие.

Стасйе перзало и либ  
Катула кату сьтау.  
Сьтау агле тирбоке.  
Рале сьркешей сьртай

Игорро Чиннов.



на жюри, и, получив диплом Парижского университета, Оцуп стал преподавать русский язык и литературу в одном из самых прославленных учебных заведений Франции — в Высшей нормальной школе <Высший педагогический институт>...

<...> Хочется напомнить, что после ареста Гумилева, в трагические дни 21-го года, после раскрытия какого-то мифического заговора, Оцуп был одним из первых, кто стал предпринимать весьма рискованные для него шаги, чтобы выволить своего старшего друга и отчасти учителя, культ которого он сохранил на всю жизнь. А за это ему многое зачтется».

Как ни странно, провозгласил Николай Авдеевич и новое литературное течение: персонализм. Увы, на этот раз не повезло, ни последователей, ни последствий это не имело.

\* \* \*

Зато стал основателем школы другой числовец — Георгий Викторович Адамович. Именно его суждения о поэзии стали основой «парижской ноты». Нота требовала простоты, неукрашенности, сосредоточенности на главном. Он заразил аскетизмом Анатолия Штейгера, Лидию Червинскую, Юрия Терапиано. Но сам порою от аскезы бежал, соблазнялся пышностью и к любимому существу обращался так:

Розовый идол, персидский фазан,  
Птица, зарница...

Он заявлял, что его пышные стихи следует читать очень просто, маловыразительно, как бы understatement. Но был, разумеется, неправ: пышный слог требовал и пышной декламации. Последнюю свою книгу назвал он «Единство», но именно единой его поэзию назвать нельзя. Смесь роскошества и аскетизма в единство слиться не могла.

Приведу конец стихотворения, в котором дал он действительно образец парижской ноты:

Холод. Пустая телега  
Изредка подребезжит.



Полное близкого снега  
Небо недвижно висит.

Господи! И умирая,  
Через столетье, едва ль  
Этого мерзлого снега,  
Этого мертвого рая  
Я позабуду печаль.

Конечно, был Адамович эстетом, снобом, и тяготение его к аскетическому христианству надо понимать в соответствии с замечанием Петра Верховенского о Ставрогине: «Аристократ, когда идет в демократию, обаятелен».

Вспоминается стих Евгения Евтушенко, в начальной строфе с именем «Георгий Викторович Адамович», а в конце:

...Быть может, вернуться в Россию Вам поздно —  
Еще вернется Россия к Вам<sup>1</sup>.

Слава Богу!

Из-за нелепого своего толстовства он, к сожалению, упростил в своей книге «Комментарии» замечательный слог свой, оставив только прекрасные строки о том, какими должны быть стихи. Кстати, в книге этой полстраницы обо мне начинаются странно: «У нас в эмиграции есть поэт, сравнительно еще молодой». Дело в том, что статья камкинского издания лежала в ящике стола несколько лет, и к выходу ее я, увы, перестал быть сравнительно молодым.

Каким был Георгий Адамович внешне? Помню смуглое (остатки разлития желчи), очень сморщенное лицо, увенчанное густой шевелюрой, — настоящей, но цвета воронова крыла. Никто не решался ему сказать, что черная эта краска его только старит. Помню изящно повязанный, удачно подобранный галстук, аккуратный темный пиджак и очень некрасивые руки — предмет его страданий.

Кроме замечательного слога в эссе, был Георгий Викторович и столь же замечательным оратором. Он говорил без пафоса, без напора, очень свободно, непринужденно, раскованно, плавно, грамматически безупречно — и говорил незабываемо.



После войны приехав в Париж, я вскорости имел честь и счастье считать его своим старшим другом. Повторяю, его литературные беседы в «Современных записках», «Числах» были по художественному блеску лучше всего, написанного кем-либо когда-либо на вольные темы.

После встречи с ним Андрэ Жид написал: «Запомним имя Георгия Адамовича» — «Retenons le nom de Georges Adamovitch» — хотя отличный французский язык (а говорили они, конечно, по-французски) не давал представления о его прекрасном русском. Книга, написанная им по-французски, «L'autre patrie» («Другое отечество») — «вольные размышления» — к сожалению, осталась незамеченной.

\* \* \*

Третьим членом редакции «Чисел» был Георгий Иванов, автор прекрасных стихов и недостоверных воспоминаний. Это был сложный человек, настаивавший на том, что он по ту сторону «Добра и Зла». Помню, взяв у Евгения Евгеньевича Климова почитать редкую книгу, он ее тут же продал — и угрызениями совести отнюдь не терзался. «Но я — поэт», — улыбаясь, говорил он мне стихами Сологуба о предстоящей встрече с апостолом Петром<sup>2</sup>.

Любимый им Петербург, еще будучи членом Цеха поэтов, воспевал он стихами классически совершенными. Георгий Владимирович был очень остроумен. Мне рассказывали, что как-то в салоне Марии Самойловны Цетлин, чистейшей души человек Илья Фондаминский как-то сказал, что элита спасет Россию. Иванов, ехидно усмехнувшись, прошепелявил, намекая на народную поговорку: «Элита едет, когда-то будет». Все расхохотались.

Когда я впервые увидел Георгия Иванова в Риге, он поразил меня своей элегантностью и — шепелявостью. Встреча произошла от того, что в нашем журнальчике «Мансарда» ему понравились мои писания. Так и началось мое сотрудничество в «Числах».

В эмиграции издал Георгий Иванов два сборника нарочито красивых, прелестных стихов, особенно это видно в сборнике «Розы». А в последние годы становилась его поэзия печальнее и горче. Лишь иногда находил он какое-то утешение:

Трубочка есть, водочка есть,  
Всем в кабаке одинакова честь.



\* \* \*

Выделялся в «Числах» Борис Поплавский, которого я уже не застал. Он отравился, и это очень большая потеря. Его стихи крайне своеобразны, хотя и не без влияния французских «проклятых» поэтов. Его дневники были отмечены самим Бердяевым в большой статье. Там Поплавский писал, что непрерывно думает о Боге, и что Бог, как он чувствует, непрерывно думает о нем. Тут приходится заметить, что Создатель огромной вселенной едва ли может непрерывно думать даже о трижды гениальном человеке. А что до того, что Поплавский непрерывно думал о Боге, это вызвало у зоилов ремарки, что мол, если все время думать о Боге, надо и додуматься до чего-то.

\* \* \*

Редко, к сожалению, появлялся на страницах «Чисел» Владимир Васильевич Вейдле, человек удивительный и наиболее из всех числовцев европеец. Внешне крайне респектабельный, как бы сановный, хорошо одетый, он иногда удивлял чем-то ребячливым. Помню, прочтя мои стихи «Жил да был Иван Иваныч», он грузный, большой, тяжеловесно прыгал вокруг меня, крича: «ха-рошие стихи, ха-рошие стихи!»

О моих стихах Владимир Васильевич писал, как и Адамович, несколько раз.

Он прекрасно говорил по-французски и по-немецки, долгие годы сотрудничал в «престижных», как теперь говорят, журналах, в сверхэлитарном «Nouvelle Revue Française», «La vie intellectuelle» доминиканцев, в немецком «Merkur».

Это был ученый муж. В опубликованном Славянском институте в Париже толстом томе «Эмбриология поэзии»<sup>3</sup> он очень дельно возражает самому Роману Якобсону, царю американской славистики. Его «милый поэт» и «милый друг», как он меня звал, гордый дружеством Адамовича, Маковского и многих других, растроганно радуется счастью — доброму отношению к нему человека столь умного, как Владимир Васильевич Вейдле.

\* \* \*

Иногда появлялся в отделе числовской прозы и Гайто Газданов, осетин, недоучившийся студент Сорбонны с очень бойким



французским (скорее простонародным) языком. Был он весьма самоуверен. Владимир Васильевич Вейдле как-то с улыбкой сказал мне: «Георгий Иванович мнит себя Сент-Бёвом». Но беллетрист он был неплохой, если отвлечься от его сверх-интеллектуальных французских и крайне глубокомысленных авторских монологов, романы его отличаются очень плавным ритмом и написаны правильным языком. Атмосфера чаще всего одна и та же: ночь, снег, в темноте далекая музыка.

Подчеркнутый цинизм, скепсис, сарказмы, не первоклассные остроты Газданова многих, естественно, раздражали. Мережковский говаривал о нем: «Христос заповедал любить врагов своих. Газданов мне не враг, вот я его и не люблю».

Бедой Газданова было существование в литературе Набокова. Георгий Иванович с горечью чувствовал свою второстепенность и свое плебейство. Снобизм ему и помогал жить, и мешал. Очень его помню: низкорослый, коренастый, с вечной сардонической улыбкой на очень морщинистом лице.

\* \* \*

Я рад от него перейти к людям, снобизма лишенным. Из них очень теплые чувства до сих пор вызывает во мне Сергей Иванович Шаршун, милый мой друг, упорно называвший меня «нашей новой надеждой». Чистокровный словак, он был, трудно вообразить, участником знаменитой досюрреалистической группы «Дада»<sup>4</sup>. По слухам, его ценили и Андрэ Бретон, и Курт Швиттерс и Макс Эрнст. Но в Париже ему жилось тяжело, и одно время пришлось ему работать уборщиком в том доме-сараяе, где когда-то бедствовали Пикассо, Пикабия, Вламинк. Каково было ему убирать за следующими поколениями, трудно себе представить. Но «душе настало пробуждение»: он внезапно стал известен, разбогател! В мой очередной приезд в Париж я видел в Музее современного искусства, на Rue de New York его персональную выставку. Два зала, увешанные картинами в белых тонах: ангелы, кометы, белые звезды. Деньгами он распорядился странно: поехал не в Грецию, не в Италию, а на остров Галапагос, где всего-то достопримечательностей — огромные зеленые черепахи, якобы древние.

Проза Шаршуна довольно странная. В ней он выводил себя под именем Долголикова<sup>5</sup> и делал это не без насилия над син-



таксисом и особенно пунктуацией. Одна его «информация», которые на листочках он раздавал друзьям, запомнилась: «С мокротой выплюнул клопа».

Это был человек очень чистой души, бессребреник, неудачник, покорно принимавший свою непризнанность. Не верится, что вошел наш милый Сергей Иванович в Царствие Небесное.

\* \* \*

Выделялся в эссеистском отделе Григорий Адольфович Ландау, берлинец, с которым посчастливилось мне познакомиться у моего друга Николая Белоцветова в Риге, куда семья Ландау переехала из-за Гитлера. Это был державшийся с достоинством, корректный человек двух культур; его немецкий был безукоризнен. В «Числах» вызвали общее внимание его «Тезисы против Достоевского»<sup>6</sup>. Григорий Адольфович, например, упрекал Достоевского в том, что тот изображал почти только одних бездельников: ни один не работает, все только болтают. Ну, изобрази Достоевский второго гончаровского Штольца, было бы это интересно?

Все же беседы с Григорием Адольфовичем питали, обогащали. Он и его жена, очень интеллектуальная, милая дама, погибли от нацистов...

\* \* \*

Немало было в «Числах» и чудаков — и первым был, конечно, незабвенный Алексей Михайлович Ремизов, к которому случалось мне заходить на 5, Rue Voileau. (Странное дело: в Москве я дал интервью редактору газеты «Северо-Восток» — оно потом появилось и в парижской газете «Русская мысль». В нем почему-то оказались перепутаны ремизовский адрес с бунинским: 1 Rue Jacques Offenbach. Там тоже мне случалось бывать частенько. Жил Иван Алексеевич рядом со знаменитым борделем — где, увы, мне побывать не пришлось.)

В многочисленных книгах, получаемых мною от Алексея Михайловича, он писал, например: «... моему предстателю и заступнику на черном суде самоуверенных рабов», — и замечательная его ультра-каллиграфическая подпись.



Махонький, в черной шапчонке, черной блузке, запачканный мелом и перхотью, он встречал, улыбаясь прелукаво: «Вот и хорошо, что забежали, только угостить-то мне вас нечем. Ну что, посмотрите в холодильнике, может, что найдется». А в холодильнике (дело было на Пасху) лежали два окорока, четыре Пасхи, десятки крашенных яиц, и, помнится, восемь куличей.

Я засиживался у него в кукушкиной — с кукушкиными часами, и развешанными на веревочках скелетиками: летучие мыши, кроты (тоже слепенький был), скелетиками селедок, птичек и пр. Слушать его было великим наслаждением. А читать — едва ли. Уж больно затейливо, и затейливость эта не кажется оправданной. Да, слог, как ни у кого. Еще в России повлиял на многих, но читать скучно. К концу жизни пересказал по-своему кое-какой французский и арабский эпос, где, как у Лиона Фейхтвангера, в Древнем Риме и средневековой Европе ходят автомобили.

Он был великий каллиграф — и каким несчастьем стала для него слепота! На книгах, посылаемых мне регулярно, вместо произведения искусства появились каракули...

Думаю, странности его объясняются просто смешной наружностью: убедился, что галстук и пиджак не для него. Вспоминается Лев Толстой. Решаюсь заподозрить, что его широкий мужицкий нос был вообще причиной его толстовства и вообще опрощения. Паскаль как-то заметил, что будь у Клеопатры другой нос, мировая история сложилась бы иначе. Так вот, думаю, что и нос Толстого повлиял на мировую историю.

\* \* \*

Печаталась порой в «Числах» и Тэффи Надежда Александровна. Веселая, подозрительно черноволосая, сильно покрашенная, но «со следами былой красоты» была она, уввы, с каким-то налетом некоторой вульгарности. Но, забавно было ее злое остроумие.

Иван Алексеевич Бунин, тоже добротой не отличавшийся (и в своих деловых письмах прескучный) загодя придумал надпись для ее будущего надгробия: «Здесь лежит писательница Тэффи, в первый раз одна». Ну, простим зоилу неджентльменскую эту выходку.



\* \* \*

Всегда приятно было читать в «Числах» послания Владимира Варшавского, действительно милого, благородного человека. Мускулист, атлетически сложен, был он в душе хрупкий, незащищенный. Иногда писал в модернистской манере, потом перешел на реализм, затем написал книгу «Незамеченное поколение» с очень полезной информацией о молодых эмигрантских писателях. Его увлечение русской религиозной философией было подлинным, глубоким.

Володя Варшавский был редкостной разновидностью социалиста: он был социалист-христианин, как Георгий Федотов. Человек чистой души, он был мученик своего писательского призвания: писал с большим трудом, медленно, но написанное им было доброкачественно.

\* \* \*

В моей памяти живы два чудака: супружеская пара — Анна Присманова и Александр Гингер. Считалось, что они уроды. Что могло показаться только в плане канано-классической Греции. Для людей, переживших модернизм, и Аня Присманова, и Сашу-ня Гингер были красивы. Недаром Борис Поплавский в незаконченном своем романе назвал Гингера Аполлоном Безобразовым.

Был этот Гингер существом преоригинальнейшим — и это без всякого старания. Он был очень храбр, и когда немцы по Парижу искали евреев, Александр Самсонович преспокойно играл на бильярде, и вошедшие в ресторан немцы его не взяли: ну раз в такое время играет на бильярде, значит бояться ему нечего.

Александр Гингер выпустил книги «Стая верных» (переделанную Георгием Раевским в «Стаю скверных»), «Жалоба и творчество», «Весть». Он называл себя формистом, хотя и неясно, чем формизм отличается от некоторых других течений. Запомнились мне две строки:

Я вас прошу настойчиво и прямо:  
Не приходите на мою траву<sup>7</sup>.

Созерцательная его натура привела его к буддизму, и хоронили его по буддийскому обряду. Два его сына били в большие гонги, ламы в оранжевых одеяниях курили фимиам.



\* \* \*

Очень своеобразным человеком была и его жена, Анна Семеновна Присманова — Присман, незабвенный мой друг. Она как Варшавский была мученицей, билась неделями над строфой, добиваясь очень богатых рифм и разговорной убедительности. Я называл ее Рыбка, она меня Игрушка. Я часами сидел у них, не скучая. Как и Ремизов, и многие другие в те парижские годы, взяли они советские паспорта, но скоро передумали и не поехали — слава Богу! По отъезде моем из Парижа подписывала она свои письма, написанные крупным детским почерком, графически: изображением рыбки. Это был человек на редкость чистый душевно. И на похоронах (она приняла православие) многие были явно взволнованы ее кончиной. О них обоих — Сашуне Гингере и Рыбке — я вспоминаю с волнением. Думаю, Борис Поплавский дал в образе Терезы отчасти ее портрет. Она была задумчива, искренна, прямодушна.

\* \* \*

Были тогда среди числовцев несколько чудаков, тогда мало признанных, но достойных признания. Помнится мне чистый сердцем тоже милый мой друг Эммануил Матусович Райс. Выходец откуда-то из Буковины, он знал восемнадцать языков и был необыкновенно начитан. В молодости случилось ему записаться во французскую компартию, а в мое время ударился он в ультра ортодоксальный иудаизм. Помню, как в столовке накрывал он плечи, надевал ермолку, и, раскачиваясь, бормотал что-то. Неожиданно стал он членом НТС<sup>8</sup>. И странно было видеть его большой семитский нос среди русейших физиономий энтеэсовцев.

Эммануил Матусович был снобом и всегда хотел эпатировать собеседника, вот как В. Марков, вдруг заявивший, что романтизм — ничто. В умных людях это удивительно. Он был очень пронизательным критиком, и его двадцатистраничная статья обо мне в «Возрождении» меня порадовала меткими и толковыми замечаниями.

Как досадна старческая забывчивость! В году пятидесятом был я свидетелем интереснейшего разговора между Гингером и Райсом о философских романах — «Волшебной горе» Тома-



са Манна, «Человеке без качеств» Роберта Музиля и «Тошноте» Жана-Поля Сартра, тогда очень модного. По Парижу ходила молодежь нарочито запачканная, во всем черном — экзистенциалисты, почитатели автора «Тошноты». Увы, напрягаю память, но вспомнить, что говорили оба оратора 40 лет назад, не могу. (Знаю только, что и петербуржцы Серебряного века, и интеллектуалы третьей волны прислушивались бы к их словам с интересом и вовсе без снобистской усмешки.) Впрочем, одно замечание Райса всплывает в памяти. Он сказал, что раньше писали *Bildungsromane* — романы о взрослении, становлении человеческой души — вот, как «Годы ученичества Вильгельма Майстера» у Гете, или «Воспитание чувств» у Флобера, или «Жан Кристоф» у Ромена Роллана. Теперь психология в большой моде, а психологических романов на тему становления характера почти нет. Почему? Кажется, ответа мы не нашли.

\* \* \*

На моем письменном столе снимок: группа сотрудников «Чисел». В центре Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус, Георгий Адамович, Ирина Одоевцева и Георгий Иванов, которому обязан я личным участием в «Числах». Из этой группы нет уже в живых никого. Один я еще «влачу существованье».

О Георгии Владимировиче думаю я с благодарным чувством. Храню записку, которую, на третьем году моего парижского бытия, после очередного чтения стихов, он мне неожиданно протянул. Привожу ее текст: «Расписка. Обязуюсь при первой возможности написать о поэзии Игоря Чиннова, которую я очень ценю и люблю, так серьезно и уважительно, как она того заслуживает. Георгий Иванов».

Я уехал из Парижа в 53-м году, а когда вернулся, Георгия Иванова уже не было, не было и Бунина. Но были живы Адамович, Одоевцева, Вейдле, Сергей Маковский, в прошлом редактор блистательного «Аполлона»<sup>9</sup>. На моем втором вечере в Русской консерватории, под эгидой Объединения поэтов и писателей<sup>10</sup>, я слушал прекрасную речь Георгия Адамовича, четыре лестных доклада. В следующий мой приезд тоже кое-кого уже не было. Председательствовал на моем вечере Борис Константинович Зайцев, еще до революции широко известный в России.



В «Числах» он печатал свой перевод «Божественной комедии» Данте<sup>1</sup>.

Всматриваюсь в «общую группу сотрудников» «Чисел» с большой грустью. Вот уже лет сорок, как улетели их души за Коцит. Но к грусти примешивается и радость. Я имел счастье знать этих парижских русских поэтов. И благодарно кланяюсь их светлой памяти.

Хочется закончить стихами, как и подобает поэту. Вот строки Екатерины Таубер, автора сборника «Верность», дочери белого офицера, милой хромоножки:

Так страшно быть последним в стае,  
Прощальный отдавать салют.

И уже совсем на личной эгоистической ноте, повторю тютчевское:

Передового нет, и я, как есть,  
На роковой стою очереди.  
Но не будем сентиментальны.

*Флорида, 1993–1994*

<sup>1</sup> Стихотворение Е. Евтушенко «Письмо в Париж».

<sup>2</sup> Речь идет о стихотворении Ф. Сологуба «Я испытал превратности судеб...», где есть строки:

...Когда меня у входа в Парадиз  
суровый Петр, гремя ключами, спросит:  
— Что сделал ты? — Меня он вниз  
железным посохом не сбросит.

Скажу: — Слагал романы и стихи,  
и утешал, но и вводил в соблазны,  
и вообще, мои грехи,  
апостол Петр, многообразны.  
Но я — поэт. — И улыбнется он,  
и разорвет грехов рукописанье,  
и смело в рай войду, прощен,  
внимать святое ликованье...



<sup>3</sup> «Эмбриология поэзии» В. Вейдле вышла уже после его смерти в Париже в 1980 году с предисловием Е. Эткинда.

<sup>4</sup> «Дада» — модернистская художественная группа, ставшая предшественницей сюрреализма, возникла в 1916 году в Цюрихе из представителей интернациональной богемы, эмигрантов. Затем центр ее перекочевал в Париж. В число дадаистов вошли многие известные художники, такие как Курт Швиттерс, Пауль Клее, Макс Эрнст, Франсис Пикабия и др. Дадаистами руководила нигилистическая идея разрушения образности ради «великого Ничто», они отвергали логическую систему мышления ради утверждения бессознательного творчества. К 1922 году дадаизм закончил свое существование.

<sup>5</sup> Долголиков — главный герой в книге С. Шаршуна «Без себя» (Париж, 1972). Книга эта была подарена И. Чиннову автором с автографом: «Игорю Владимировичу Чиннову, поэту — искателю. С. Шаршун. 8.5.1972». Что касается сентенции Шаршуна по поводу *клопа*, то, по словам И. Чиннова, Шаршун время от времени изготавливал своеобразные «листочки» с подобными высказываниями и дарил их друзьям. Выше упомянутое «сообщение» было на одной из листовок.

<sup>6</sup> В «Тезисах против Достоевского» (Числа. 1932. № 6. С. 163) Г. Ландау в частности писал: «Для Достоевского осталась скрытой жизненной и духовной полнота. Он видит человека во зле, но не видит человека в творчестве. Он видит человека в мрачном страдании, но не видит его в светлой радости».

<sup>7</sup> «Я вас прошу...» — строки Александра Гингера из стихотворения «Жалоба и торжество». Публикуется ниже.

<sup>8</sup> НТС — Национально-трудоустройственный союз нового поколения — политическое движение, возникшее в эмиграции в 1930 году. О нем подробно рассказывает В. Варшавский в своей книге «Незамеченное поколение», вышедшей в Нью-Йорке в 1956 году. По словам автора, «этот союз, во многом перестроив свою идеологию, является в настоящее время, вероятно, единственной организованной партией в эмиграции» (цит. указ. изд. С. 68). Задачей НТС было противостоять коммунизму. При этом в основе его программы лежали идеи национализма и «социальной правды». Фашистский характер движения в период довоенного времени «ни у кого в эмиграции не вызывал сомнений», — пишет Варшавский. Именно в этом плане Варшавский отмечает изменения в идеологии послевоенных лет. В программе НТС, опубликованной в 1951



году, заметна демократизация позиций, в частности там говорится о равенстве всех российских граждан и о «недопустимости классовых, сословных, имущественных, партийных, расовых, религиозных и иных привилегий» (указ. изд. С. 116). В этот период Э. Райс и стал членом НТС.

<sup>9</sup> Журнал «Аполлон» выходил в Петербурге в 1909–1917 годах. Его редактором был Сергей Маковский. Большое участие в нем принимали акмеисты. В библиотеке И. Чиннова сохранилась подшивка журнала с 3 по 10 номер с автографом Маковского. Чиннов рассказывал, что даже у Маковского не было подшивки всех номеров, и он хотел купить их у Чиннова, но Чиннов не согласился.

<sup>10</sup> «Объединение русских писателей во Франции» вновь возникло после войны. До войны, в 1925 году, был создан «Союз молодых писателей и поэтов» (первым председателем стал его инициатор Ю. Терапиано). В 1931 году «Союз» был переименован в «Объединение русских писателей». После войны в «Объединение» вошли многие парижские поэты, в том числе И. Чиннов. Сохранился членский билет Игоря Чиннова номер 57 за 1947–1948 годы, подписанный председателем «Объединения» Георгием Раевским, и такой же билет за 1950–1951 годы, подписанный уже другим председателем «Объединения» Георгием Адамовичем. Чиннов вспоминал, что в «Объединении» тогда были те, кто разделял «левые» убеждения. Например, Г. Адамович. Литераторы с более «правыми» взглядами входили в «Союз русских писателей и журналистов в Париже», существовавший с 1920 года и много лет возглавляемый Б. Зайцевым. Туда вступил И. Чиннов, о чем свидетельствует его членский билет, датированный 1951 годом. Для проведения творческих вечеров «Объединение» арендовало зал Русской консерватории. В данном случае Чиннов говорит о своем втором вечере, проходившем в 1971 году, после выхода его четвертой книги «Партитура». На нем выступали с докладами Г. Адамович, В. Вейдле, И. Одоевцева, Ю. Терапиано. Первый вечер был устроен после выхода в 1950 году первой книги Чиннова «Монолог». Всего вечеров было пять.

<sup>11</sup> Главы из «Божественной комедии» Данте в прозаическом переводе Б. Зайцева печатались в «Числах» (1931. № 5). А кроме того в журналах «Возрождение» (1928 год), «Опыты» (1955 год), «Вестник РСХД» (1958 год).



*Утверждено к печати Ученым советом  
Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН*

Научное издание

## **ПИСЬМА ЗАПРЕЩЕННЫХ ЛЮДЕЙ**

**Литература и жизнь эмиграции  
1950–1980-е годы**

**По материалам архива И. В. Чиннова**

Составитель О. Ф. Кузнецова

Оригинал-макет изготовлен в ИМЛИ им. А. М. Горького РАН  
Лавочкиной А. В.

Корректор Сченснович Е. Н.

ИД № 01286 от 22.03.2000 г.

Подписано в печать 01.09.2003. Формат 60x90<sup>1/16</sup>. Бумага офсетная.

Гарнитура Кудр. Печать офсетная. Печ. л. 52,0. Тираж 1000 экз.

Институт мировой литературы им. А. М. Горького РАН

121069, Москва, ул. Поварская, д. 25-а

тел. (095) 291-23-01, 202-21-23

Заказ № 8850

Отпечатано в полном соответствии  
с качеством предоставленных диапозитивов

в ППП «Типография «Наука»

121099, Москва, Шубинский пер., 6